

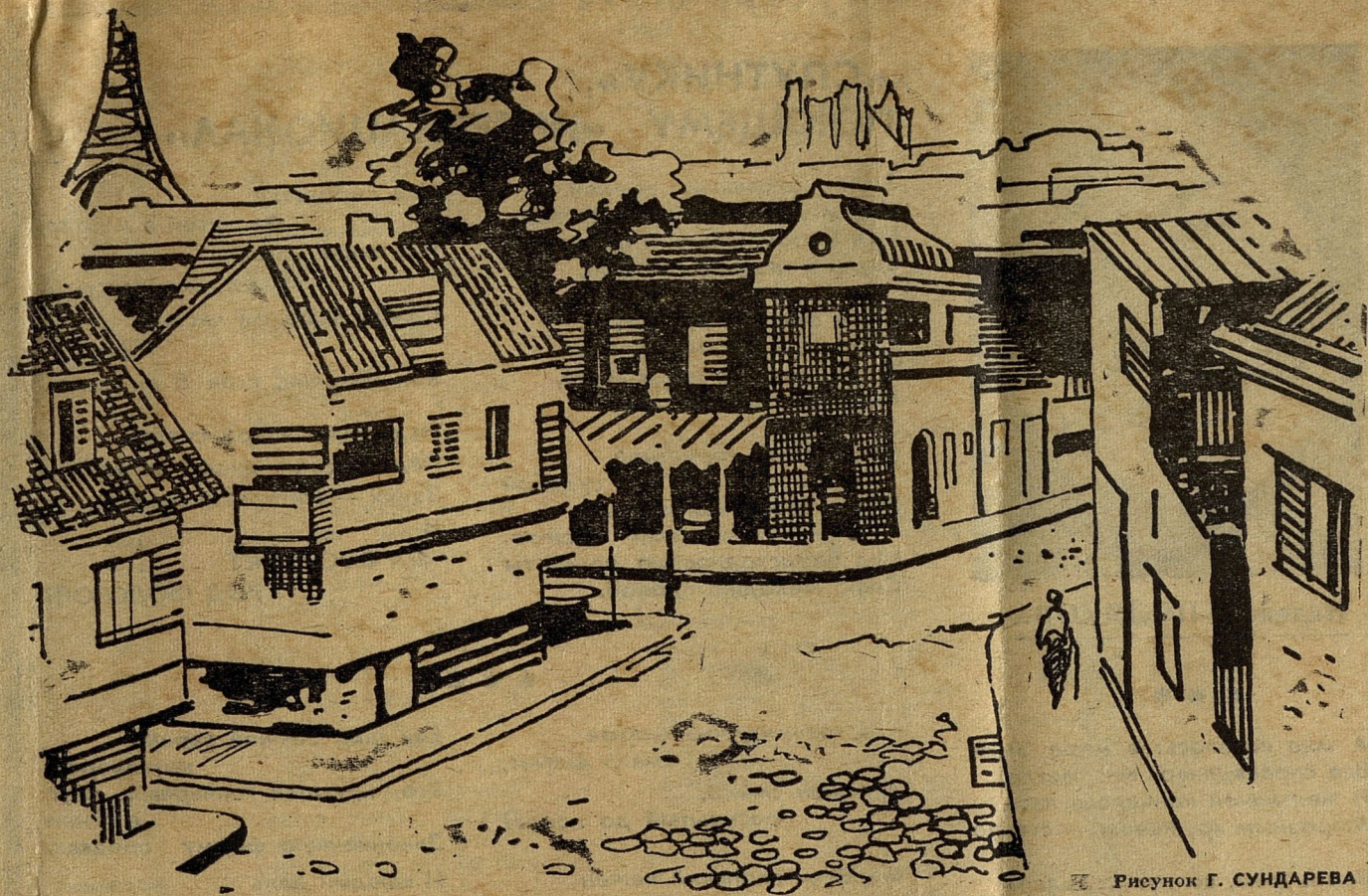


Рисунок Г. СУНДАРЕВА

Франции, во время испанской войны поехал в Испанию добровольцем, героически воевал там, стал капитаном республиканской армии, а вернувшись во Францию, участвовал в движении Сопротивления — тогда, в 1946 году, мечтал о возвращении на Родину, а к памяти своего отца относился с какой-то нервной любовью, политически довольно правильно оценивая его позицию, но по-человечески с детства его обожая. Когда мы с Савиновым зашли в кафе, то вдруг наткнулись на уже сидевших там Бунина и Тэффи.

Мы довольно долго просидели все вместе в кафе, потом Тэффи ушла первой, а я, прощаясь, пригласил Бунина победать.

Он спросил, где, и, улыбаясь, добавил: здесь разные рестораны по разным возможностям. Я сказал: все равно где, пойдете туда, где лучше кормят.

— Ну что ж, раз так — в «Лаперузе», — как мне показалось, с некоторым недоверием к моим возможностям сказал он.

После войны во Франции вышли сразу две мои книги, и у меня были деньги. Через два дня мы обедали с Буниным на набережной Сены в этом выбранном им «Лаперузе», обедали не спеша, несколько часов и разговаривали.

Не знаю, то ли Бунин почувствовал, что мне хочется подтолкнуть его к возвращению на Родину, то ли сам он тогда неотступно думал об этом, во всяком случае где-то посредине обеда, который начался малосущественным разговором, Бунин вдруг заговорил о своем возвращении.

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ

ОБ ИВАНЕ АЛЕКСЕЕВИЧЕ БУНИНЕ

Константин СИМОНОВ

ЭТИ ЗАПИСИ я, к сожалению, сделал лишь много лет спустя после встреч с Иваном Алексеевичем Буниным. Мне кажется, что я не забыл ничего существенного, не забыл и характер этих разговоров с Буниным, то есть запомнил не только, что он говорил, но и как говорил. Однако, воспроизводя в некоторых местах своих записей прямую речь Бунина, я не хочу и не могу настаивать на строгой документальности этого воспроизведения, на сохранении всех особенностей подлинной стилистики бунинской разговорной речи. Я лишь стремлюсь добросовестно воспроизвести слова Бунина такими, какими они спустя много лет сохранились в моей памяти. А память, даже хорошая, — инструмент недостаточно совершенный.

Я виделся с Буниным пять или шесть раз в Париже летом сорок шестого года. Как раз в это время происходило принятие советского гражданства многими бывшими эмигрантами, в особенности теми, кто так или иначе участвовал в движении Сопротивления или занимал во время войны явно выраженные антинацистские позиции.

Я выступал вместе с нашим тогдашним послом во Франции А. Е. Богомоловым на вечерах в большом парижском зале, уже не помню, как он назывался. В зале собралось тысячи полторы человек из русской колонии в Париже. Часть собравшихся уже приняла советское гражданство, многие думали об этом.

После доклада А. Е. Богомолова, говорившего о нашей победе и о возможностях для возвращения на Родину, открывавшихся перед присутствующими, я прочел «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» и некоторые другие военные стихи 1941—1942 годов. Два или три из прочитанных мною стихотворений взволновали зал, и меня долго не отпускали. А когда все кончилось, кто-то из руководителей Союза советских патриотов подвел меня к сидевшим в первых рядах Бунину и Тэффи и познакомил меня с ними.

Тэффи была еще очень молодая живая женщина; ей никак нельзя было дать ее семидесяти пяти лет. Со мною разговаривал человек очень живого, я бы сказал, даже озорного нрава, с какими-то удивительно современными повадками. У меня и тогда, и позже — я потом еще несколько раз встречался с Тэффи — складывалось из этих встреч, может быть, и ошибочное впечатление, что если бы Тэффи тогда вернулась домой, то она, как рыба в воде, почувствовала бы себя в московской не столько писательской, сколько актерской среде.

Бунин и при первой, и при последующих встречах с ним вызвал у меня совсем иные ощущения. Он казался мне человеком другой эпохи и другого времени, человеком, которому, чтобы вернуться домой, надо необычайно многое преодолеть в себе, — словом, человеком, которому будет у нас очень трудно. В моем ощущении он был человеком глубоко и последовательно антидемократичным по всем своим повадкам. Это не значило, что он в принципе не мог в чем-то сочувствовать нам, своим советским соотечественникам, или не мог любить всех нас, в общем и целом как русский народ. Но я был уверен, что при встрече с Родиной конкретные современные представители этого русского народа оказались бы для него чем-то непривычным и раздражающим. Это был человек, не только внутренне не принявший никаких перемен, совершенных в России Октябрьской революцией, но и в душе все еще никак не соглашавшийся с самой возможностью таких перемен, все еще не привыкший к ним как к историческому факту. Он как бы застенчив в своем прежнем ощущении людей, жизни, быта, в представлениях о том, как эти люди должны относиться к нему, и как он должен относиться к ним, какими они могут быть и какими быть не имеют права...

Внешне Бунин был еще крепкий, худощавый, совершенно седой, чуть-чуть чопорно одетый старик. Гордая посадка головы, седина, суховатость, подтянутость, жесткость и острота движений, с некоторой даже подчеркнутостью всего этого.

Он был как-то сдержанно приветлив. И очень сдержан, и очень приветлив в одно и то же время.

Он поблагодарил меня за чтение стихов, сказал какие-то хорошие слова, спросил, долго ли еще пробуду в Париже, и заметил, что хорошо бы еще раз повидаться. Я в свою очередь сказал, что был бы очень рад вновь увидеть его. На этом мы распрощались.

Что я чувствовал, когда впервые подходил к Бунину? Я со школы знал «Человека из Сан-Франциско» и до войны читал все вещи Бунина, которые были у нас изданы. В 1944 году, когда мы вошли в Белград, я познакомился там с бывшим министром просвещения врангелевского правительства Малининым, служившим хранителем библиотеки эмигрантского Русского дома в Белграде. Этот старик, категорически не пожелавший уходить с немцами, много рассказывал мне о резком расколе эмиграции на тех, кто пошел служить немцам, и на тех, кто считал это несомненным со своей честью. Мы ходили с ним по библиотеке, и он, узнав, что я люблю Бунина, дал мне дубликаты поч-

ти всех вышедших за границей бунинских книг. Так в конце войны я прочел и «Жизнь Арсеньева», и «Лику», и множество не известных мне раньше рассказов Бунина. Прочел и его «Окаянные дни». При чтении этой книги записок о гражданской войне было тяжелое чувство: словно под тобой расстается земля и ты рушишься из большой литературы в трясины мелочной озлобленности, зависти, брезгливости и упрямого до слепоты непонимания самых простых вещей.

Когда я приехал в Париж, я понаслышке уже знал про абсолютно безукоризненное поведение Бунина в годы немецкой оккупации, слышал, что он категорически отказался хотя бы палец о палец ударить для немцев. Для меня, только что пережившего войну, это было главным оселком в моем отношении к людям.

Я относился к Бунину как к очень хорошему писателю и как к человеку, занявшему во время войны достойную патристическую позицию. Я уважал его за это, и это уважение зачеркивало для меня некоторые неприемлемые страницы в его прошлом. Словом, мне хотелось, чтобы Бунин вернулся домой.

Но когда я говорю «вернулся», надо сказать всю правду — при встречах с Буниным, чем дальше, тем больше у меня росло ощущение, что возвращение будет тягостно для него. Хорошо, если он возьмет советское гражданство, хорошо, если он закрепится на тех максимально близких к нам позициях, на которых он был в то лето, но настаивать на том, чтобы он непременно ехал домой, может быть, не следует: он слишком много у нас не поймет, не примет, не ошутит себя, как дома.

Перед моими последующими встречами с Буниным наш посол говорил мне, что было бы хорошо как-то душевно подтолкнуть Бунина к мыслям о возможности возвращения, говорилось о том, что Бунин живет не в безвоздушном пространстве и есть силы, которые действуют на него в обратном направлении.

Я с охотой взял на себя это неофициальное поручение попробовать повлиять на Бунина. Не собираясь с места в карьер приниматься за уговоры — брать паспорт и ехать, — я видел свою задачу в том, чтобы рассказывать Бунину все, что ему будет интересно: о войне и о людях во время войны, дать ему представление о том, что мы пережили за последние годы, и всем этим душевно приблизить его к нам.

Не помню уже, в тот же самый вечер, когда я познакомился с Буниным, или на следующий вечер мы пошли в какое-то кафе вместе с Львом Борисовичем Савиновым. Сын Савинкова — он родился в Ницце, воспитывался во

Допускаю, что он ждал, что я сам заговорю на эту тему, и хотел предупредить меня.

Заговорив о возвращении, он сказал, что, конечно, очень хочется поехать, посмотреть, побывать в знакомых местах, но его смущает возраст:

«Поздно, поздно... Я уже стар, и друзей никого в живых не осталось. Из близких друзей остался один Телешов, да и тот, боюсь, как бы не помер, пока приеду. Боюсь почувствовать себя в пустоте... А заводить новых друзей в этом возрасте поздно. Лучше уж я буду думать обо всех вас, о России — издали. Да и, по правде говоря, — другой вам этого не скажет, а я признаюсь: очень привык к Франции, как-никак уже двадцать пять лет здесь, привычки ко всему: к квартире, к прогулкам, к образу жизни... Франция стала для меня второй родиной. Вам, наверное, приходилось говорить с нашим братом — эмигрантом. Многие ругают Францию, любят злословить на ее счет. Я не принадлежу к их числу, тем более что иногда эта ругань показная: не то чтобы вам, советским, угодить, не то чтобы себе цену набить. А я привязался к Франции, очень привык, и мне было бы трудно от нее отвыкнуть. А брать паспорт и не ехать, оставаться здесь с советским паспортом — зачем же брать паспорт, если не ехать? Раз я не еду, буду жить так, как жил, дело ведь не в моих документах, а в моих чувствах...»

Он свернул на некоторое время с этой темы, но потом снова возвратился к ней и стал говорить о Куприне. Позже, в следующие наши встречи, он еще несколько раз заговаривал о Куприне. Видимо, он много думал об этом:

«Я не хочу, чтобы меня привезли в Москву, как Куприна (он старательно и ядовито подчеркивал: не приехал, а «привезли»)». Вернулся домой уже рамоли, человеком, ни на что не способным... Я так возвращаться не хочу».

Он говорил о Куприне с не понравившимся мне озлоблением, с отзвуками каких-то старых счетов, видимо, с новой силой всплывавших в нем после возвращения Куприна на Родину. Но при всей ядовитости его тирад в них была и горечь, адресованная самому себе; кажется, он действительно со страхом думал об этом: вернуться домой уже не тем, кем был, обмануть ожидания...

Потом — уже не помню, в это наше свидание или в следующее, — мы с ним вскоре снова встретились где-то в ресторане или кафе. Он стал говорить о войне и своем отношении к немцам...

Говорил сдержанно, но с волнением, чувствовалось, что это было для него весьма важно душевно. Мне кажется даже, что тогда, в сорок шестом году, после своего вызывающего поведения

по отношению к немцам он считал себя вправе и вернуться, и не возвращаться, считал, что он может взять советский паспорт и может не брать, что он все равно чист перед Россией. В нем было это самоощущение гордости и чистоты; оно стояло за всем, что он рассказывал мне.

Когда он был в Париже в начале войны, то немцы через кого-то — он называл мне, но я забыл, через кого, — забрасывали удочки: не будет ли Бунин сотрудничать с ними. Речь шла не о том, чтобы он стал их прямым сотрудником, а делались лишь осторожные предложения выступить в каких-то покровительствуемых немцами изданиях, принять участие в каких-то журналах, напечатать при их содействии что-нибудь более или менее нейтральное.

И когда Бунин отклонил все эти предложения и у него стало усиливаться ощущение, что тучи над ним сгущаются, он уехал на юг.

Рассказывая об этом, он подчеркивал: «Вы, разумеется, понимаете, что у меня было иное положение, чем у других, хотя Нобелевскую премию к тому времени я уже проел — одна медаль золотая осталась, — но все же надо мною еще мерцал ореол лауреата Нобелевской премии, и это играло свою роль в отношении немцев ко мне, вернее, в их обращении со мной. Нобелевская премия сдерживала их и соблазняла возлечь меня в свою орбиту. Читали они там меня или не читали, но, что я лауреат Нобелевской премии, знали все, и если бы я начал сотрудничать в их изданиях, это было бы для них существованием. Почувствовав, что обречен на дальнейшие домогательства, я уехал из Парижа на юг и жил там на берегу моря, в доме знакомого врача. Жили мы бедно, главным образом в смысле — голодно, попросту временами нечего было есть. Это было уже во время оккупации немцами всего юга Франции. У нас с врачом был приемник, и я на мансарде (дом был трехэтажный) слушал русские передачи. Когда у нас начались салюты, а потом пошли все чаще и чаще, я в некоторые ночи попадал в трудное положение. Помню, как-то было чуть не четыре салюта. Мой хозяин — врач, у него внизу, в подвале, было припрятано немного спирта... Я послушал салют, какой-нибудь город возьмут — и с верхнего этажа вниз: немножко выпью, поронюсь в шкафах, найду какой-нибудь сухарь, закушу и снова вверх. Через час — опять салют. Опять надо его отметить! Опять вниз, опять немножко выпью, опять сухарь, опять вверх... Так бывало на радостях и бегал всю ночь вниз и вверх».

Рассказывая о своей жизни при немцах с юмором и даже с озорством, он нисколько не подчеркивал собственного мужества. Допускаю, что иногда ему и хотелось бы что-то подчеркнуть, но он тщательно воздерживался от этого из чувства собственного достоинства, из боязни, чтобы это не приняла за его заискивание перед нами, советскими.

Он говорил обо всех своих поступках в период немецкой оккупации как о само собой разумеющейся для него линии поведения. А потом — мне это очень запомнилось — снова вернулся к вопросу о паспорте и приезде:

«Нет, я не поеду, не поеду на старости лет... это было бы глупо с моей стороны... Нет, я не Куприн, я этого не сделаю. Но вы должны знать, что 22 июня 1941 года я, написавший все, что я написал до этого, в том числе «Окаянные дни», я по отношению к России и к тем, кто ею ныне правит, навсегда вложил шпагу в ножны, независимо от того, как я поступаю сейчас, здесь ли я остаюсь или уеду».

В другой раз он заговорил о Мережковском и о Гиппиус, он их обоих не любил и презирал. Не помню, с чего начался разговор, но Бунин вдруг вспомнил, как не то после окончания войны, не то после освобождения Парижа от немцев он увидел шедшую ему навстречу по одной из парижских улиц Зинаиду Гиппиус. Еще издали завидев ее, он перешел на другую сторону, не желая с ней встречаться. Но она, увидев его, тоже перешла, и они столкнулись нос к носу. Мережковский незадолго перед тем умер, и Гиппиус стала говорить Бунину, что «вот все теперь от нас шарашаются! И от Дмитрия Сергеевича отворачивались перед его смертью, и меня не замечают, проходят мимо, вот и вы перешли на другую сторону, очевидно, не хотели здороваться...»

«Я ответил, что действительно не имел большого желания с нею встречаться, и сказал ей: вы, сударыня, пожиаете плоды собственной деятельности. Вам с Дмитрием Сергеевичем было хорошо здесь при немцах, теперь — плохо. А мне было плохо, а теперь хорошо. Оно, конечно, дама, но я не мог говорить с ней иначе, потому что презирал ее. И так оно и обстояло в действительности: они с Мережковским служили немцам, но до этого они оба служили еще и итальянцам, успели побывать на содержании у Муссолини, и я прекрасно знал это. Мое презрение к ним было именно

тем чувством, которое они вполне заслужили. И я не считал нужным его скрывать».

Сколько мне помнится, Бунин два раза возвращался в разговоры со мной к своим «Окаянным дням», даже спросил меня, читал ли я их. Я сказал, что нет, хотя на самом деле читал. Он сказал, что в этой книге много такого, под чем он сейчас не подписался бы, но что она писалась в другое время и в других обстоятельствах, а кроме того, даже и тогда он в этой книге не позволял себе писать о большевиках много такого, что писали в то время о них другие литераторы.

В этой связи Бунин впервые упомянул об Алексее Толстом:

«Что бы я там ни писал, однако я все же не предлагал загонять большевикам иголки под ногти, как это рекомендовал в ту пору в одной из своих статей Алексей Толстой».

После этого предостережительного злого пассажа в адрес Толстого Бунин много и долго говорил о нем. И за этими воспоминаниями чувствовалось все вместе: и давняя любовь, и нежность к Толстому, и ревность, и зависть к иначе и счастливей сложившейся судьбе, и отстаивание правильности своего собственного пути. Он говорил о Толстом вперемежку: то с язвительностью, то с любовью, и все это странным образом сходилось иногда в одной и той же фразе.

Среди прочего Бунин вспомнил, как где-то, не то в Париже, не то на юге, в Марселе или Ницце, когда Толстой, кажется, в 1935 году путешествовал с молодой женой, они оказались в одном ресторане. Бунин был один, Толстой с дамой, поэтому Бунин считал, что если кому-то из них подходить к другому, в данном случае это должен сделать он.

Глядя, как Толстой знакомо сидит за столом и сманно, с удовольствием ест, Бунин подошел официанта и послал записку Толстому: «Здравствуй, я здесь, могу к тебе подойти, не возражаешь ли?»

«Он получил записку, сразу поднялся, и я пошел к нему... Мы встретились, обнялись, и я немножко посидел с ним. Я был очень рад его тогда увидеть, очень рад. Такой была наша единственная встреча после его возвращения в Россию. Больше я его не видел».

Из других писателей Бунин, как я уже сказал, несколько раз возвращался в разговорах к Куприну и к Телешову — расспрашивал о нем с нежностью и спокойной старой дружбой, но я, к сожалению, ничего не мог ответить — я тогда не знал Телешова.

Однажды Бунин вдруг заговорил о Катаеве — вспомнил, как Катаев пришел к нему когда-то в Одессе. Потом заговорил о катаевской прозе, высоко отзываясь о ней, особенно о «Белет парус одинокий».

«Да, трудно было подумать тогда, в Одессе, что из этого молодого человека выйдет такой хороший писатель».

Когда мы в третий или четвертый раз увиделись с Буниным и я еще раз попросил его куда-то пригласить, он ответил:

«Нет, довольно. Наоборот, пора бы мне вас пригласить к себе, но нынешний быт наш такой, что и надо бы, да совестно».

Горький смысл сказанного был в том, что худо жить. Принять так, как хотел бы, не может, а принимать не так, как хотел бы, не с руки.

Тогда я отважился сказать:

«Иван Алексеевич, если вы не рассердитесь, у меня такое предложение: давайте устроим ужин на коллективных началах, в смысле — ваша территория, мой провиант. Я позволю себе заговорить об этом с вами потому, что, может быть, мне к послезавтраму удастся доставить сюда, в Париж, что-нибудь наше, московское, такое, что вам приятно будет вспомнить».

Бунин без колебаний согласился, просто сказал:

«Ну что ж, ну давайте».

Мы договорились о часе ужина и о том, что в этот день я заранее завезу к нему все, что добуду.

В то время в Париже проходила конференция четырех министров, и из Парижа в Москву и обратно каждый день ходили наши прямые самолеты. Рассказывая с Буниным, я сразу поехал в гостиницу, к нашим ребятам-летчикам и рассказал им, о чем идет речь: что поспешатра я встречаюсь с Буниным, что мы с ним договорились поужинать у него дома на пах, и я хочу угостить его нашим московским харчем. Я дал ребятам записку в Москву, к себе домой — они утром летели и с удовольствием согласились все сделать; Бунина читали, а идея им понравилась. Я волновался, не подведет ли они меня по какой-нибудь случайности, успеют ли, но они полетели и все успели. Передали домой мою записку, мои домашние купили «у Елисеева», где был тогда так называемый «коммерческий магазин», все, что можно было найти сугубо отечественное, вплоть до черного хлеба, любительской колбасы, селедки и калачей. Летчики взяли эту посылку на следующий день на

рассвете в самолет, и на второй день все это оказалось в Париже. За несколько часов до ужина «московские харчи» были уже на квартире у Бунина.

Бунин был в добром настроении. Пожалуй, все это его немножко тронуло и показалось забавным. А кроме того, его просто радовало присутствие на столе черного хлеба, калачей, селедки, любительской и колченой колбасы — всей этой полузабытой, особенно за годы войны, русской еды. Помню, как он ел эту любительскую колбасу и, смеясь, приговаривал: «Да, хороша большевистская колбаска!..»

В тот вечер у Бунина в гостях были поэт и критик Георгий Адамович, один из самых умных литературных людей в эмиграции, и Тэффи. Все немножко выпили московской водки, и она пела под гитару очень хорошо, чуть надтреснутым, но обязательным голосом. Ее голос был старше нее, она выглядела моложе. А в голосе чувствовалась старческая трещинка. Она пела какие-то полуцыганские романсы на слова Полонского, на не известную мне музыку. Да и этих стихов Полонского я то ли раньше не знал, то ли не помнил.

Бунин попросил меня почитать стихи. Читал я довольно много и под конец прочел из еще не напечатанной тогда поэмы «Несколько дней» главу, связанную с моей недавней поездкой в Японию: «Я в эмигрантский дом попал, в сочельник, в рождество». В этой главе шла речь о ночи под рождество в эмигрантской семье, получившей советские паспорта. Главное место занимали мои собственные мысли о Родине, но вначале были, пожалуй, все-таки рискованные для чтения в данных обстоятельствах строки о русской эмиграции. Когда я прочел главу из поэмы, Бунин попросил меня прочесть еще что-нибудь, я прочел еще одно или два стихотворения, и он только здесь, вдруг вернувшись к поэме, сказал:

— Однако вы рискнули это читать мне!

— Да, Иван Алексеевич, рискнул.

— Рискованно, рискованно, нашего брата вы там не болото пощадите.

Очевидно, чтение этой главы все-таки зацепило его, хотя и не вывело из того состояния добродушия и некоторой умиленности, которое было у него в тот вечер.

Это была моя последняя длительная встреча с ним. После того мы виделись и разговаривали еще раз, если не ошибаюсь, в книжной лавке. Я уезжал в Москву, и он по-дружески простился со мной, напомнив о моем обещании выяснить в Москве некоторые волновавшие его недоразумения с Гослитиздатом.

В связи с Буниным стоит упомянуть о двух моих разговорах с Адамовичем. Первый раз я разговаривал с ним после «Жизни у Бунина». В тот вечер он пошел проводить меня до гостиницы. А потом я был на юге Франции и, узнав, что мы с ним соседи, зашел к нему поведаться, и мы проговорили несколько часов. Адамович был близким другом Бунина и его жены. Кружок Бунина — Тэффи при тогдашней расстановке сил в старой эмиграции оказался на ее правом фланге, но при этом занимал непримиримые антинемецкие позиции. К этому кружку до войны примыкал Алданов, сейчас собиравшийся вернуться из Америки. Для него вопрос о сотрудничестве или несотрудничестве с немцами никогда практически не стоял, он эмигрировал в Америку и всю войну был там. Адамович подтвердил мне то, что я уже слышал: что Алданов имел и имеет огромное влияние на Бунина. Мне показалось, что Адамович в душе недолюбливал Алданова, но в то же время отдавал ему должное и говорил, что это человек большой моральной силы.

Как я понял из этого разговора, Бунин, решая вопрос о том, ехать или не ехать ему домой, и даже о том, брать или не брать ему советский паспорт, оглядывался на Алданова, боялся его суждений и уж во всяком случае считался с ними, с тревогой думая о том, как Алданов отнесется ко всему этому. А Алданов — это можно было заранее сказать — отнесется к идее возвращения Бунина на Родину резко отрицательно.

Что остается добавить?

Я уехал из Парижа, когда вопрос о том, захочет ли Бунин получить советский паспорт и поедет ли домой, находился в нерешенном положении. Мысль о поездке его и пугала, и соблазняла. Он думал о своем собрании сочинений в Москве; мы много говорили с ним об этом. Он волновался, что у него вышла какая-то неудачная переписка с Гослитиздатом, что Гослитиздат не так его понял, как он хотел, а он, видимо, не так понял Гослитиздат. Возникли взаимные обиды, которые я обещал ему выгнать. Бунин огорчился, что его не так поняли, и очень хотел, чтобы его издали... Говорил:

«Я, может быть, и поехал бы, повидал, да ведь не пустят так вот, чтобы поехать просто... Коли поехать, так надо уж и жизнь прожить... А я уж как-то привык к мысли, что буду здесь доживать. Если бы просто поехать...»

Словом, он был еще в нерешительности. У меня создалось ощущение, что холодный разум подсказывает ему: не надо ехать, а чувства нет-нет и дают о себе знать и требуют этой поездки, зовут к более решительному сближению с Родиной.

Я вернулся в Москву и предпринял в Гослитиздате некоторые шаги — там действительно готовились издать его большой однотомник. Я навел справки, выяснил некоторые недоразумения, но как раз в это время появился доклад А. А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», о Зощенко и Ахматовой...

Когда я это прочел, я понял, что с Буниным дело кончено, что теперь он не поедет. Может быть, Бунина не столь уж возмущает то, что сказано о Зощенко — о писателе, чужом и далеком для него, — но все, что произошло с Ахматовой, будет им воспринято абсолютно лично — возвращаться нельзя! Он воспримет удар по Ахматовой, как удар по себе. Если об наотрез отказавшейся ехать в эмиграцию Ахматовой говорят и пишут такое, то что же будут говорить о нем, прошедшем столько лет в эмиграции и делавшем все то, что он делал в своей жизни.

Словом, я понял, что на всех наших мыслях о возвращении Бунина надо ставить крест. Так оно и оказалось.

Вскоре после этого, осенью 1946 года, Бунин уже выступил с заявлением достаточно враждебного нам характера. Эту позицию он продолжал занимать и позже, она усугублялась, и мне кажется, что в некоторых наших статьях и предисловиях напрасно замалчивают эту сторону дела. Последняя книга воспоминаний Бунина, изданная в 1950 году, по-моему, очень дурна. Наряду с несколькими блестящими вещами в ней много дешевой и злобной антисоветщины, которую он мстительно отобрал из написанного в разные годы и по разным поводам. Это был последний предсмертный удар, который он нам нанес в меру своих старческих сил.

Думается, что всего этого из «Песни о Бунине» тоже не надо выкидывать. Нельзя изображать дело так, что якобы он на склоне жизни вернулся к нам. Мне кажется, что я видел Бунина именно в тот негодный период его жизни, когда он был наиболее близок к нам, но и меру этой наибольшей близости тоже нельзя преувеличивать.

Рискуя повториться, хочу попробовать вспомнить еще некоторые подробности.

Во время войны и сразу после нее Бунин бедствовал. В 1946 году, когда я его видел, он помощи ниоткуда не получал да и не собирался получать. И свое отношение к писателям, живущим у кого-то на прокормлении, очень ясно выразил мне в своем презрительном рассказе о Гиппиус и Мережковском. Квартира у него была большая, обставленная, запертая — квартира обнищавших петербургских интеллигентов.

Ну, а как он жил в довоенные годы? Видимо, тоже в стесненных обстоятельствах. Он рассказывал мне о том, как получил Нобелевскую премию и как все это было неожиданно для него. О поездке в Швецию и самом акте получения премии он рассказывал серьезно, с оттенком гордости, а о том, как потом тратил деньги, — с большим юмором; деньги летели, было неисчислимо количество просьб о помощи со стороны эмигрантов, которые все разом на него навалились. Кое-кому пришлось помочь, но если бы помогать всем, кто просил, не хватило бы и десяти Нобелевских премий. По его словам, после получения премии он вдруг стал фигурой, которую по мнению всех других, оставшихся ни при чем, можно и нужно было донять. И этим дружно занялись весьма многие, в том числе и совершенно не известные ему лица.

Как выглядел Бунин летом 1946 года? Я уже говорил о его облике. Мне трудно сейчас вспомнить, как он бывал одет, но на нем все хорошо сидело и выглядело хорошо. Уже суховатая старческая шея, суховатое лицо. Видимо, оттого, что он похудел не за последние годы военной голодовки, а всегда был худощав, это помогло образоваться на его лице и шее мешкам и складкам.

В нем уживались как бы два юмора. Один юмор добродушный, а другой — желчный. И он вперемежку пользовался и тем, и другим, как будто у него в запасе всегда есть два полетета двух разных калибров и он может в зависимости от обстоятельства вынимать то один, то другой.

Он был еще крепок, гулял хорошей быстрой походкой и любил пройтись, никогда ни всерьез, ни в шутку не жалуюсь на здоровье.

Что он говорил о литературе? О нашей и о французской? Я мало что запомнил из этого. Пожалуй, даже осталось ощущение, что он вообще не склонен был говорить о литературе. Больше говорил о России, о Франции, о войне, о политике, о немцах. И даже когда вспоминал Алексея Толстого, то опять-таки не как писателя, а как друга и человека с иной судьбой, чем он сам.

1961—1966